

Поезд из Душанбе / повесть

Category: Kitarcy, Powestler

написано kitarcy | 22 января, 2025

Поезд из Душанбе / повесть ПОЕЗД ИЗ ДУШАНБЕ

И сжѐг всё, чему поклонялся,
Поклонился тому, что сжигал.

И.С. Тургенев.

● Решение

Аллах свидетель, не по своей воле покидал я Таджикистан. Горько оставлять обжитую квартиру, добрых соседей, с которыми бок о бок прожил не один десяток лет, друзей, знакомых, даже безделушки, какими за долгие годы обставилась квартира, и с какими тоже сросся душой. Отъезд означал крушение всей минувшей жизни, всех связанных с нею надежд и привычек – будущего. Но, как писали тогда газеты, «у мира сдвинулась крыша, и он, в свою очередь, сдвинулся с места»: из бывших «братских» республик русские хлынули к себе в Россию. Мои соплеменники, татары, до поры до времени особо за себя не тревожились: ведь мы не русские, лишь говорящие на русском языке, русскоязычные, к тому же, как и таджики, мусульмане, хотя и не коренные, пришлые. Однако и нам всё чаще и чаще приходилось слышать: «Иди своя земля!»

Напрасно я пытался понять, что происходит. Такие милые, добрые, гостеприимные люди, одна из самых спокойных, «тихий» республик бывшего Советского Союза... На центральных столичных площадях Озоди и Шахидон¹ дневали и ночевали митингующие. Варились в одном котле несовместимые, казалось бы, полярные по своей сути Демократическая и Исламская партии, им противостояли жители Кулябской области, приехавшие в столицу якобы для поддержки недавно избранного президента Набиева и объявившие себя сторонниками светской, а не духовной исламской власти. В Душанбе стекались жители отдалённых и близлежащих кишлаков, городов Бухары и Самарканда – сторонники и тех, и

других противостоящих сил.

Город разбухал людьми. Запасы продовольствия быстро таяли, а нового продовольствия подвозилось мало, да и то, очевидно, расхищалось: у пустых прилавков толпились жаждущие хлеба. Городской транспорт ходил с перебоями, останавливались заводы и фабрики, так называемое европейское население затаилось в своих квартирах.

– Ужас!.. Ужас, что творится на улицах! – влетала в квартиру задыхающаяся от быстрой ходьбы моя жена. Ей по дороге с работы приходилось пересекать площадь Озоди, идти чуть ли не через весь город. И всё это – в напряжённом ожидании нападения вооружённых юнцов, которым не могли противостоять ни правительственные блюстители порядка, ни оппозиционные боевики, а юнцы, да и не только они, ощущая полную безнаказанность, грабили неосторожных, зазевавшихся городских дамочек, одиноких парней, насиловали девушек.

– Не пойду! Не пойду я больше на работу!.. Пусть увольняют.

– И не ходи. Кому она, твоя работа, теперь нужна? – угрюмо отвечал я.

А что ещё мог я сказать, чувствуя себя униженным и беспомощным, как малый ребёнок? Хотя на зарплату жены да на мою пенсию мы только и жили, запасов никаких. Но и зарплату жены, и мою пенсию всё чаще не выплачивали, задерживали, финансовая система республики расстраивалась. Экономика рушилась.

– Что ты, Ибрагимыч, паникуешь? – хлопал меня по плечу Александр Иванович, давний мой приятель по рыбалке да охоте, по походам в горы. – Всё наладится! Не могут партия и правительство терпеть подобный беспредел.

Это он мне твердил уже с самого начала заварухи, ещё тогда, когда «партия и правительство» были в силе, до развала Союза. Александр Иванович по натуре оптимист, он свято верит в «ум, честь и совесть эпохи», в своё время работал на высокой должности, был избалован вниманием начальства, а теперь живёт на персональную пенсию. Он и раньше жил широко: помимо высокого оклада имел свою пасеку, тонны горного мёда сдавал в потребсоюз. Правда, с началом беспорядков он побаивался

выезжать на пасеку в горы. Однако, твёрдо ве-ря в партию и правительство, всё же хорохорился:

– Ну, Ибрагимыч, ты меня удивляешь. Что такое оппозиция? В город введут танки – и порядок установится. Напрасно церемонятся: пожар надо тушить, пока огонь не разгорелся. Помнишь, как недавно было в Пекине? Выпустили на площадь танки – враз обуздали разбушевавшуюся толпу.

Александр Иванович тогда точно в воду глядел: в город шли танки. Ночи напролёт грохотали по улицам бронетранспортёры, а вслед им тянулись в густой южной тьме вспышки автоматных и винтовочных выстрелов. На улицах, в городском транспорте горячие перепалки: «Иди своя земля! Это мой дом! Русские – вон!» А по ночам будили нас отчаянные крики: «Не надо-о-о! Не трогайте-е-е!..» Девичий крик о помощи безответно гас в тёмной ночи.

Вскоре танки по требованию оппозиционеров ушли из города. Но беспорядки продолжали нарастать. По телевидению транслировали заседания Верховного Совета республики – одна перебранка. Как-то спикер парламента кулябец Сафарали Кенджаев учинил за бездействие и попустительство разнос министру внутренних дел Навджуванову, памирцу по происхождению. На следующий день перед Президентским дворцом на лошади Шахидон собралась памирская молодёжь, человек пятьдесят, с требованием оставить в покое Навджуванова и даже принести ему, якобы незаслуженно оскоблённому, извинения. И – как ком снега, сорвавшийся с вершин памирских гор, – тот-час выросла толпа на площади Шахидон. О министре Навджуванове тут же забыли. Требовали уже отставки президента и правительства. Вот тогда-то и начался двухмесячный митинг, вылившийся в противостояние двух площадей Шахидон и Озоди и приведший в итоге к отставке президента Набиева, через некоторое время умершего, как официально сообщили, от инфаркта. В республике разразилась уже ничем не прикрытая гражданская война.

А Александр Иванович до последнего часа так и не терял надежды. И меня успокаивал, даже посмеивался:

– А ты-то чего, Ибрагимыч, волнуешься? Ты же мусульманин.

– Теперь трудно сказать, кто я... Для таджиков – я как бы русский, а для русских как бы не совсем свой – нацмен.

– Да ты, я вижу, ещё не утратил чувства юмора! Значит, не совсем безнадёжный, – смеялся Александр Иванович. – Держи хвост пистолетом! – ободрял он. – Республике мы отдали всю сознательную жизнь: строили дороги, города, электростанции, осваивали засушливые залежи Вахшской и Яванской долин, обводняли хлопковые поля, налаживали медицинское обслуживание, ликвидировали хворь – какие только болезни не свирепствовали прежде в Таджикистане! А чего стоит одна Нурекская ГЭС! Регарский алюминиевый завод! А Вахшский азототуковый! А Яванский химический комбинат!.. Да мы, Ибрагимыч, росли в эту землю! Наша кровь, наш солёный пот в ней, в таджикской земле. Какие же мы чужие?

– Так-то оно, Саня, так. И старшее поколение таджиков, похоже, это понимает. Потому оно и сдержаннее во всех разборках и уважение к русским не совсем потеряло... Но выросла, понимаешь, молодёжь, племя младое и незнакомое. А оно историю своими глазами не видело, многие считают, что мы мешаем нынешнему Таджикистану, тормозим его государственность, национальное самосознание. А разные там политиканы, рвущиеся к власти, националисты, клановые и региональные божки-вожаки подзуживают. А то и силой понуждают, запугивают.

– Мать их так! За семьдесят лет советской власти даже феодально-байские пережитки не ликвидировали! – ругался Александр Иванович. – Да и наши вожди хороши! – в последнее время он резко переменял отношение к «партии и родному правительству» и уже вовсю костерил и Горбачёва, и Ельцина. – Развалили Союз, не подумав о нас, живущих за пределами России! Вмиг – взрыв, по ветру, коту под хвост всё отстроенное, нажитое!

– Дело сделано, Саня, и нам теперь надо думать, как в этой

передрыге выжить, продержаться на плаву.

Я уже окончательно решил уезжать. Война приближалась и к нашему порогу. А зачем мне, прошедшему Великую Отечественную, ещё одна война? Когда-то был смысл жертвовать жизнью. А сейчас за что погибать? За демократию, за новую свободу, за суверенитет? А что, этого нельзя добиться без крови, без разборок? Или у нас так не умеют? Стоило, как молвится, появиться Беловежским соглашениям, как воспетый акынами и бардами советский интернационализм затрещал по всем швам. Хотя, в общем-то, все народы бывшего Советского Союза в подавляющем большинстве по-прежнему желали жить в дружбе, в одной стране.

Мне нужен был напарник, попутчик: уж если уезжать, то надо иметь надёжного товарища, а то, рассказывают, в дороге такое случается – волосы дыбом! Александр Иванович, конечно, понимал, что мы в республике стали лишними. Создаёт таджикский народ своё национальное государство или чем-то другим занят – он во всём должен разобраться сам. Идут межклановые, межрегиональные, межплеменные разборки: кто шиит, а кто сунит, исмаилит, кто памирец, кто кулябец, гиссарец, гармец. Есть партии, желающие сделать республику исламской, как в Иране, есть силы, которые хотят построить светское государство. Наши советы воспринимаются как вмешательство извне, враждебно, в лучшем случае – настороженно. Так пусть сами и разбираются.

Окончательному решению Александра Ивановича мешало другое. И как-то, съездив всё-таки на пасеку, Александр Иванович позвонил мне. Голос осевший, тихий:

– На пасеку мою уже желающие нашлись: дюжину ульев упёрли. А хозяин двора, где стояла пасека, всё бросил и переселился в Душанбе, не предупредив меня, а ведь адрес мой знал – честный, казалось бы, человек. Как же люди в последнее время меняются! И тут беспредел!.. А я так верил своему сторожу! И дома неладное, жена в панике, дочь боится ходить в университет, а ведь всего год до окончания вуза... Ты, Ибрагимыч, пожалуй,

прав: надо мотать отсюда, пока не поздно. Бросили нас наши правители: как хочешь, так и выбирайся, а не выберешься – туда и дорога!.. Но я не могу уехать без ульев, мне важно вывезти их, мне, может, только на доходы с пасеки и существовать придётся. А как вывезти? Надо бы съездить на железнодорожный вокзал, разузнать.

Меня, грешного, это даже обрадовало. Не откладывая дела в долгий ящик, поехали на железнодорожный вокзал, затем съездили на товарный двор и на контейнерную площадку. То, что мы там увидели, нас ввергло в смятение. Рассчитывать на контейнер не приходилось: контейнеры уходили в Россию и оттуда уже не возвращались. А вот железнодорожный товарный вагон заказать можно было. Правда, Александру Ивановичу одного вагона было мало, ему ещё требовалась платформа для ульев. А для меня вагон – даже велик, мне бы попутчиков, чтобы загрузиться, забить вагон полностью, дешевле бы так стало. Записались в очередь, вывесили объявление о необходимости попутчиков до Ульяновской области – с тем и отбыли, чтобы время от времени появляться, проверять, как движется очередь.

По вечерам в полутёмной притихшей квартире мы с женой напряжённо вслушивались, что происходит за окнами. Зачастую среди ночи будили автоматные очереди, звуки ближнего боя, брань, крики. Однажды проснулись от топота в соседней квартире – наутро выяснилось: днём сюда приходили солдаты якобы в поисках оружия, а ночью те же люди явились уже в гражданском и унесли всё ценное. Частенько заглядывали соседи. Славные люди, сколько времени проведено с ними в разговорах, беседах, сколько совместных торжеств, празднеств справлено! Соседи-таджики уговаривали: не уезжайте, может, всё уладится, плохо будет нам без вас. В нашем огромном трёхэтажном многоблочном доме в центре города жили и русские, и украинцы, и армяне, и евреи, и татары. Одни уже уехали, другие готовились к отъезду. Под моей квартирой, на втором этаже, жила семья осетина Павла. «Куда мне ехать? – жаловался Павел. – В Осетии тоже война... Что наделали! Зачем надо было разрушать такую мощную страну?»

Чем мы могли его утешить? Мы и сами-то ехали в неизвестность, возвращались хоть и на родину, но далеко уже не к самым близким родственникам. К людям, обремененным своими семьями, заботами, неизмеримо возросшими в нынешнее трудное время. Да и уезжали со слезами на глазах, с болью отрывая от сердца всё, так к нему прикипевшее за долгие и долгие годы. Знали, что уже до конца дней будут сниться белоснежные пики таджикских гор, залитые жгучим солнцем долины, будет ощущаться неповторимый вкус фахрабадских яблок да изюмного бескосточкового винограда. Ах, эти стремительные реки с золотистой форелью, медвяный запах горных цветов, прозрачно-чистые родники да голубые озёра-изумруды в обрамлении высоких серых скал!

А в разворачивающихся в Таджикистане событиях появлялись всё новые и новые имена. Подчас самые неожиданные. Так всплыло имя некоего Сайгака Сафарова, уважительно называемого земляками-кулябцами Бобо Сангаком. Бывший уголовник, почти два десятка лет проведший в тюрьме, стал героем созданного им Народного фронта, выступил защитником простых людей, он ратовал за твёрдую, справедливую власть. Иногда его можно было увидеть по телевизору. Седой, плотный, уверенный в себе, решительный. «Я никогда не занимался политикой, – рассказывал Сайгак корреспонденту журнала «Дружба народов» Владимиру Медведеву. – Я жалею свой народ и не хочу, чтобы он испытал ту же боль и обиду, какую пришлось испытать мне... Исламисты обвиняют меня в том, что я против ислама. Это неправда. Я, как и все мои земляки, мусульманин, то есть богопослушный. Эту веру мы впитали с материнским молоком... Говорят также, что мы кафиры, неверные. Те муллы, что мутят народ и хотят создать у нас в Таджикистане мусульманское государство, утверждают, что мы пропитаны коммунистическими идеями, что мы стоим за коммунистов. И это неправда. В моём роду никто и никогда не был коммунистом. Наоборот, коммунисты причинили моим близким и мне много горя, но я не держу на них зла. Я выступаю против людей, попирающих закон человечности, независимо оттого, к какой партии они принадлежат».

Бобо Сангак выступал во главе кулябских отрядов, но под его началом действовали и гиссарцы, и кургантюбинцы. Оппозиционеры перекрыли дороги на Гиссар, Курган-Тюбе, Яван и Кафирниган. Двадцать восемь боевых машин, БТР и БМП, шедших со стороны Гиссара и Регара на помощь Сангаку, были захвачены оппозицией.

К Сангаку подослали убийцу, и тот в упор расстрелял его. Так это или все обстояло иначе, гораздо прозаичнее – может быть: народная молва склонна к эффектным гиперболам. Похороны Сангака Сатарова, на которых присутствовали представители высшей таджикской власти, демонстрировали по телевидению годом позже моего отъезда.

В пути

Железнодорожная станция Душанбе-1. На грузовой площадке громоздятся вещи – мои, Александра Ивановича и двух моих попутчиков, едущих в Саратовскую область: дяди Володи и Олега Кнора, молодого человека, немца по национальности, намеревающегося в общем-то перебраться в Германию, но еще не оформившего документы и следующего поэтому на временное жительство к дальним родственникам в Балашов. Здесь же ульи Александра Ивановича, его «Жигули» и «Запорожец» Олега. К одному из ульев привязана коза, на ульях гордо возвышается краснопёрый, огненный, как знамя, петух. Зачем Александру Ивановичу ещё и козу тащить за пять тысяч километров? А петух? Петухов, что ли, нет в России? Бывают же у человека странности! Но не такие же! Впрочем, кто знает, что человеку ближе всего к сердцу.

Четыре часа дня. К этому времени должны быть вагоны, но их нет. Два часа спустя, уже к концу рабочего дня на площадке, заступая, очевидно, на дежурство, появляется полупьяный сторож.

– Вагонов нет и не будет. Россия нам их не возвращает.

– Как же так? Вагоны оплачены, документы оформлены. Чего ещё от нас надо?

– Можешь жалобу писать, – ухмыляется сторож, почёсывая под тюбетейкой бритую голову.

Бросаемся на поиски начальства. Удачливее всех оказывается мать Олега, работавшая в Душанбе заведующей магазином. Нюхом, что ли, чуяла, что требуют железнодорожники? Нашла нас и этак шёпотом, сбиваясь и торопясь, прожужжала:

– Надо дать... Скинуться по сотенной – и проблема будет решена.

А что делать? Выхода нет! Скинулись, и наша спасительница заторопилась в товарную контору. Возвратилась с молодым нагловатым человеком в потрёпанной железнодорожной форме. Тот потребовал за услуги ещё несколько бутылок водки. И водку дали. Куда деваться?

Тут же к площадке подаются вагоны. А уже вечер. Вагоны грязные, в них вонь: перевозили удобрения или ещё какие-то подобные химикаты. Пришлось трудиться всю ночь, очищая вагоны от грязи, лишь к утру загрузились: вначале грузили мои домашние вещи, так как мне ехать дальше других, затем вещи Олега Кнора и дяди Володи. Я, Олег и дядя Володя вписаны в железнодорожную накладную как сопровождающие, моя жена и мать Олега едут «зайцами» – это выяснилось уже в пути: оказывается, мы не имеем права брать кого-либо в вагон, везти с собою, если это даже член семьи. Но ведь вагон-то на время пути наш, оплачен нами! Приходилось доказывать, что мы не верблюды. Такое может быть только в нашей империи.

Не успели загрузиться – появляются таможенники. В замызганных чепанах, в ватных халатах, но в форменных железнодорожных фуражках. Подозрительно осматривают узлы, ящики, коробки, заставляют их распаковывать, доставать из-под тщательно уже уложенных вещей. Будто не могли сделать это раньше, когда наши вещи так свободно, доступно стояли на грузовой площадке! И тут спасает Олержина мать: пошушукалась с таможенниками в сторонке – пришлось ещё раз скинуться по десять тысяч.

Помогли загрузиться и Александру Ивановичу, хотя у него

помощников было немало. Но вот «подмазывать», давать взятки он не умел, и у его вагона и платформы постоянно шум, перебранка. Таможенники даже грозились отогнать вагон и платформу.

– Стоп! – кричит один из них, увидев алюминиевые фляги. – А это что? Цветной металл! Вывоз запрещён!

Александр Иванович тычет в лицо таможенного документ, указывает на печати. Но того не проймёшь бумажками, и фляги, одна за другой, летят из вагона.

– Пошлина! Не уплачена пошлина!

Мать Олега Кнора отзывает таможенника за вагон, нежно воркует. Таможенники требуют за провоз фляг триста тысяч рублей помимо официальной платы пошлины, но довольствуются всё-таки ста тысячами и ведром мёда.

Вслед за таможенниками появляются пожарные – подростки, лет семнадцати – восемнадцати, местные молодые растущие кадры. Придирчиво осмотрели противопожарное оборудование: песок, фляги с водой, огнетушители: проверили – нет ли керосина, бензина в баках машин. Как будто бы всё в порядке. Но тут один из пожарных замечает коробок со слесарными инструментами.

– Дефицит! – кричит он, вздувая губу с небритым пушком. – Дефицит!

Пришлось дяде Володе расстаться с пятьюдесятью тысячами рублей и бутылкой водки.

К вечеру наконец-то тепловоз примкнул наши вагоны к порожняку, стоявшему на отдалённых путях. Дали отправление – состав тронулся. И пошёл, громяхая на стыках: два десятка порожних вагонов да наши гружёные. Ханака... Регар... Нахтаабад...

– Слава Богу! – облегчённо вздыхали мы. – Кончились наши муки.

Как глубоко мы ошибались! Наши дорожные муки по-настоящему лишь начинались.

Несколько часов состав шёл почти без остановок, проскакивая станцию за станцией. В начале двадцатых годов этой железнодорожной ветки не было. Тянется она от Термеза до Душанбе, я видел давние кадры кинохроники – каким трудом эта ветка строилась русскими специалистами – около трёхсот километров пустоши и болот! И к полуночи мы уже оказались в Узбекистане. В Термезе катали нас с пути на путь – формировали новый состав. И всё из порожняка, из пустых пульманов да телячьих старых вагонов! А говорили, будто порожняк из России не поступает.

– Пусть катают, это уж нас не волнует, – довольно улыбался Олег Кнор.

– Не кажи гоп, пока не перепрыгнул, – одёргивает его дядя Володя.

Дядя Володя небольшого росточка, тщедушный, пиджак висит на нём, как на угловатом подростке, взъерошенный и обросший – седые волосы торчат даже из ноздрей и ушей. Он всего двумя годами старше меня, но даже я почтительно называю его дядей. Дядя Володя уже совершил один перевоз вещей в Россию, сейчас везёт вещи дочери. И в этом, в перевозках, пока мы с Олегом в сравнении с ним – малыши-неумёхи.

– Впереди два тоннеля, – продолжает дядя Володя, – и если туда проникли боевики – хана, нам не выбраться... И вот что ещё я вам скажу: вы, я вижу, какие-то не из мира сего, честные, стесняетесь взятки давать. А может, вы просто гордые? И то, и другое придётся оставить. У меня такое деловое предложение: всем винно-водочным запасом должен распоряжаться я. Все взятки-мзятки будут по моей части. Когда и кому давать, а когда и кому не давать – это я прошёл.

Весь винно-водочный запас, взятый нами в путь в качестве валюты, переносится в дальний угол и тщательно прикрывается. Чтобы ненароком не увидели проверяющие дорожники.

Покатав нас по путям и прицепив к составу ещё с десяток

порожних вагонов, тепловоз останавливается перед светофором. И едва останавливается, как по вагону – громовые удары.

– Открывай!

– Открывай, когда требуют!

– Двери широко не открывай, только щелочку, – шепчет дядя Володя Олегу.

В «щелочку» просовывается лохматая голова, чумазное лицо.

– У вашего вагона истёк срок планового ремонта. Загоняем его в депо для осмотра.

– Бог ты мой! – нас всех бросило к двери. – Проехали-то мы всего – ничего! Только загрузились, можно сказать.

– Отойдите, – отстранил нас дядя Володя. Пошептался с чумазым путейцем, дал ему бутылку водки.

– Найдите краску и замажьте цифры на вагоне, – добродушно посоветовал вымогатель на прощанье. – У вагона и вправду истёк срок эксплуатации. – Я заметил, и другие заметить могут.

– Как они могли так! – возмущается моя жена. – Дать бракованный вагон! Не прошедший вовремя ремонта!

Краску мы не нашли. Да и не стали ночью с какими-то цифрами возиться. В чём впоследствии и раскаялись глубоко.

Громяхая и вздымая за собою жёлтую пыль пустыни, наш состав мчится по туркменской земле вдоль границы с Афганистаном. Неожиданные автоматные очереди напоминают, что за кордоном скрываются боевики, и они зачастую переходят границу, нападают на пассажирские поезда. В грузовой порожняк они, по-видимому, стреляли просто так, в порядке развлечения. Минуем и два тоннеля, о которых с такой опаской говорил дядя Володя. На этот раз – благополучно, пронесло!

А впереди – новые границы «суверенных государств», чьими

гражданами мы теперь не являемся. И, как полагается, на каждой пограничной станции к вагону подходят блюстители порядка, таможенники, пожарные, башмачники, составители поездов, милиционеры-ли-нейщики. И вся эта волчья стая сверлит нас наглыми, алчными глазами, опорожняет наши карманы и осушает винно-водочные запасы. И нет никаких сил избавиться от неё. Служители стальных магистралей находят всё новые и новые предлоги, чтобы загнать нас в тупик, продержат там, пока мы не раскошелимся, грозят разгрузкой, унижая и оскорбляя. – Если бы с нами не было дяди Володи! «У вас буксы горят, надо загнать вагон в ремонтные мастерские». «У вас неисправны тормоза». И дядя Володя ныряет в свой укромный уголок, угодливо улыбается представителям железной дороги. А так хочется съездить им по наглым рожам!

А составы формируются в Бухаре, Чарджоу... Туркменская граница опять сменяется узбекской, та – каракалпакской, а за ней открываются безводные просторы казахских степей. Океан пустыни? До самого горизонта – словно накатанная грандиозная площадка для приёма космических кораблей. Среди пустыни теряются крошечные железнодорожные разъезды с одним-двумя глинобитными домиками – вот и все остановки, на которых так бесконечно тянется время в ожидании встречных поездов. И вокруг до самого горизонта ни одного строения.

На одном таком пустынном разъезде откуда ни возьмись появляется странная, составленная Бог вещь из каких частей и деталей гибрид-автомашина, плотно набитая энергичными луноликими степняками. Не успели мы сообразить, как степняки уже очутились в нашем вагоне. Ударом по голове откинули Олега на ящик, хватают узлы, ящики, коробки. Низкорослый, плотный, смуглый, как цыган, степняк унюхал-таки, где ящики с водкой, распихивает по карманам бутылки. Дядя Володя, даром старик, достал его дубинкой, тот обмяк, и мы вдвоём выбрасываем его из вагона. Очнулся Олег и озверело кинулся к «Запорожцу», возле которого орудовали, пытаюсь вывести из вагона, луноликие грабители. Не без синяков да шишек вытеснили их, закрыли

двери, наглухо стянули их толстой проволокой. А тут – крики со стороны вагона и с платформы Александра Ивановича. Снова откатываем двери, хватаем палки, арматуру – всё, что под рукой. Из вагона и платформы Александра Ивановича сбрасывают вещи и фляги, тащат козу, та упирается, орёт петух. На помощь нам из задних вагонов, которые подцепили к составу ночью и которые мы считали порожними, бегут люди, такие же, как мы, беженцы, впереди – коренастый пожилой человек в распахнутом офицерском кителе, в руках у него охотничье ружьё – он стреляет, ему отвечает кто-то из степняков. С трудом отбиваем добро Александра Ивановича и бежим к дальним платформам с металлическим контейнерами, которые молодчики вскрывают, как консервные банки, извлекая из них ковры, мебель. Однако налётчики уже успели загрузиться и спешат ретироваться. Как появились, так внезапно и исчезли в степном пространстве. Будто растворились, будто бы их и не было. В наступившей тишине слышен был лишь истошный крик петуха. Он кричит так пронзительно, и в его голосе такой страх, что он как бы и нам передаётся – только сейчас мы начинаем понимать, что случилось, и что минуту назад возле каждого из нас ходила смерть.

Встречали мы степняков и в ином качестве. И такие встречи случались гораздо чаще. Они появлялись из пустыни всё так же внезапно, словно материализовались из воздуха: озабоченные женщины с детьми, мужчины с измождёнными лицами. Морщинистыми, как черепашня кожа, руками тянулись к нам, просили подать или продать, а чаще всего обменять на какую-нибудь безделку сахар, спички, сигареты, хлеб, водку, плиточный чай. Жалко было этих забытых Богом и властями людей. Но чем мы могли им помочь? Нам, жившим прежде в относительном всё-таки достатке, больно было на них смотреть. Как же они, эти степняки, живы ещё при такой-то нищете?

Станция Бейнеу, где переформировывался наш состав, обошлась нам в три бутылки водки, Макат – в две; в Чарджоу содрали с нас четыре бутылки, в Нукусе – пять. Дядя Володя с

бухгалтерской пунктуальностью подсчитывал всё это и записывал себе в блокнот: а то ещё поссоримся, скажем – обманул. Но какое там обманул, как не верить! На каждой маломальской остановке, станции, полустанке или разъезде кидается к вагону всё та же алчная волчья стая: «Давай! Давай!» Что день, что ночь – гроыхающие удары в железный корпус вагона: «Давай!» А то и налётчики, грабители гремят на крыше, пытаются открыть верхний люк. По совету дяди Володи, мы задраили все люки, и верхние, и боковые, а противоположную дверь наглухо закрыли толстущей проволокой. Побегают по крыше, постучат ногами, поорут: «Подожжём вагон!» – и убираются: вагон железный, не так-то просто его поджечь.

Очередная остановка – Верхний Баскунчак. На станции тишь: ни диспетчера, ни путейцев, на соседних колеях мирно дремлют грузовые составы, нас загоняют в тупик. Но только мы располагаемся посередине вагона у слегка приоткрытой двери, чтобы позавтракать, как объявляются уже до тошноты знакомые типы. Суют под нос красные книжечки, шарят по углам – где песок, где вода, почему тесно? Ясно, не отступят, пока не получат желаемого. И – точно! Стоит дяде Володе извлечь из загашника бутылёк – последний, как всегда он говорит, – проверяльщики мгновенно исчезают... А мы продолжаем стоять. Всё та же тишина... Лишь к полуночи вагон вздрагивает, дёргается, нас подсоединяют к какому-то составу – кажется, поехали.

Утро. Рассвет. Наконец-то Россия! Слава Богу, мы в России! Теперь-то уж, как радостно утверждает, потирая руки, Александр Иванович, родная Россия не даст нас в обиду, мы тут у себя на родине. Состав тихо, словно боясь разбудить тишину, останавливается на станции с таким милым русским названием Поворино. Вагон всё ещё скрипит всеми своими разболтанными за долгие годы эксплуатации железками, медленно, точно по инерции, катится вдоль платформы, как вдруг, открыв дверь, мы видим обвешанного ключами гаечными да металлическими тормозными колодками-башмаками здоровенного русоволосого детину.

– Наливай! – вызывая у нас улыбку, гаркает детина басом. Мы продолжаем улыбаться. Мы бы и сами по случаю возвращения в отчие пенаты не прочь выпить, если бы не смертельная усталость. Да и вот она, русская натура, добродушная и совестливая – не бутылку просит, а как бы граммульку в порядке приветствия! Наливаем стакашек, и детина, охнув, крякнув, залпом осушив стакашек, исчезает меж вагонами, весёлый.

Но тут же, будто ему на смену, появляется ещё один путеец – по виду старичок, но одновременно вроде бы и ещё не старый, да только весь сморщенный, как печёное яблоко.

– Чего тебе надобно, старче? – смеется, обретший, похоже, чувство юмора Олег Кнор.

– Как спустить вас с горки: с разгону али на башмаках, на тормозах? – тоже улыбается беззубо, смеётся путеец, отчего морщины на его лице становятся ещё глубже, даже забегают далеко на грязную, в копоти, в мазуте, лысину. – На тормозах, значит, через кабак, то бишь надо смазать мои башмаки. – Он трогает тормозные башмаки, гремит ими, висящими у него с плеча.

– А что это значит: на башмаках или без башмаков? – интересуется моя жена.

– А вон, родимая, прислушайся, – широко поводит рукою неопределённого возраста путеец: неподалёку от нас самотёком катится по склону, всё ускоряя ход, вагон. – Это называется спустить с горки. А понизу, значит, стоят другие вагоны, – охотно поясняет башмачник и улыбается тоже, прислушиваясь, даже как бы сладострастно морщась от предвкушаемого удовольствия: вагон гроыхает, ускоряя ход, и вот – словно бомба взорвалась, такой силы удар, оба вагона даже отскакивают, отпрыгивают друг от друга.

– Ради Бога! – молитвенно вскидывает руки моя жена. – Спустите наш вагон по-человечески!.. Без того половину мебели уже растрясло, поломало. Хоть последнее сохранить.

–Будь спок! – заверяет башмачник, пряча поспешно переданную ему дядей Володей бутылку. И слово своё сдержал: спустил нас под горку как по маслу: мы никакого толчка не ощутили.

Сформировали состав, не без того, правда, чтобы не задержать ещё на целый почти день и не вынудить ещё пару бутылок водки, – поехали к вечеру!

Проснулись среди ночи от шума. Почему-то стоим. И будто бы крики, удары по металлу, скрежет. И вдруг – явственно голос Александра Ивановича:

– Что вы делаете, гады, подонки! Не трогайте!

В голос хозяина вплетаются взбудораженные, истошные крики козы и петуха.

– Мужики, что-то неладно у Александра Ивановича!

Хватаем привычные уже металлические прутья, палки. Подбегаем к вагону Александра Ивановича, а от вагона, взревев мотором, уже отъезжает грузовик. Почти не осталось на платформе Александра Ивановича ульев, каких-то два-три ящика, нет фляг с мёдом. А в вагоне – не хватает многих узлов, коробок с домашними вещами. Сам Александр Иванович лежит у двери с окровавленной проломленной головой.

– Гады, прикладом сбили! – стонет Александр Иванович, приходя в себя и держась за голову руками, по которым всё ещё стекает кровь.

– Сволочи!.. Это называется Россия? Что сделали с народом! Гады! Сволочи!

Нет, этот стон-ругань не только в адрес тех, кто только что ограбил Александра Ивановича!

Ругайся не ругайся, ограбили. Остались в вагоне деревянные кровати, матрасы, разобранная мебельная стенка, книжные шкафы с ненужными теперь уже никому книгами. Сундук, и тот

полупустой – унесли шубу, шерстяные вещи жены. Хорошо, хоть «Жигули» не успели выволочь: машина закреплена тросами, чтобы не болталась при движении вагона.

– Гады! Фашисты! Хуже фашистов! Шпана! – стонет, плюётся кровью Александр Иванович. – Куда деваться человеку? Там, понимаешь, война, а тут грабят, обдираловка, грабеж!..

Как резко меняются и без того уже полевевшие взгляды Александра Ивановича.

Пожаловаться некому. Заявление в линейный отдел милиции бравый лейтенант не принял: «Надо сторожить, а не открывать двери. За вами не насмотришься!» Пришедшие «засвидетельствовать» деяния жуликов молодые милиционеры не забыли похвалить вкус таджикского вина.

Зачастили простои. Только что «отдыхали» на каком-то полустанке и – снова на двадцать часов застряли. Тепловоз уехал, и даже диспетчер не знал – куда: «Он мне не докладывал. Может, человеку на свадьбу надо». Вагоны стояли в тупике. Мы вышли на придорожную поляну, разожгли костер, вскипятили чай. Александр Иванович потухший, весь опутанный бинтами, спустил на землю зеленоглазую козу да огненного своего петуха. Петух деловито поспешил к навозной куче, а коза подпрыгнула, да так и зависла передними ногами в придорожных кустах.

– Бедные, – пожалела козу и петуха моя жена. – Натерпелись страху, да и намучились, бедные..

– Жена не вынесет, во всём обвинит меня, – о своём, будто не слыша мою жену, переживал потерю Александр Иванович. У него и борода, давно не бритая, как бы ещё больше поседела. Весь он, поникший, сгорбленный, представлял жалкую картину. – Наживали годами, а расплылось вмиг, в одночасье! А нам с женой, может, на пасеку, на доходы с неё только и жить предстоит.

Что я мог ему ответить? Сам не знал, на что и как жить буду. Помнится, с каким энтузиазмом мы восприняли перестройку.

Рухнуло застоявшееся, заскорузлое, открывались вроде бы такие перспективы: свобода слова, бесцензурные издания, частное предпринимательство... Но всем этим управлять надо, Россия разношёрстна, в ней кого только нет, малость зевнул – из-под носа утащат не только власть, но и последние штаны. Вот она и вышла боком, та перестройка: грабёж, бандитизм, взяточничество, заказные убийства, беспредел. Насмотрелись мы на всё это в дороге, а то ли ещё по всей-то России творится!

Иногда такая горечь наваливалась, что никуда уже и ехать не хотелось. Стоит ли ехать, мучиться? Может, разгрузиться на каком-нибудь полустанке, разбить палатку да доживать остаток своих дней. Лучше уже не будет...

Тринадцать суток в пути. А конца этому пути не видать. Опять застряли на станции Ртищево. Здесь разгрузился дядя Володя. Он уже распрощался с нами, уехал, а у нас тут – споры, препирательства, посулы. Даже водка, эта всеобщая нынешняя валюта, не помогла. Простояли все двадцать четыре часа.

В Балашове разгрузился Олег Кнор. Ему, лишь только вагон остановился, велели пройти на товарный двор и доплатить разницу в тарифе – сколько-то тысяч рублей.

– Какая ещё доплата?! Какая ещё разница?! – побелел от возмущения Олег. – Ничего платить не буду! Хоть стреляйте!

Подъехала родня Олега, погрузила его вещи на «КамАЗ» и увезла.

Пусть ищут! Вагон сполна оплачен. Нечего лишнее давать им!

Зато нудная тяжба легла на наши с женой плечи.

– Освободите вагон, – явился представитель товарного двора. – Давно истёк срок эксплуатации.

Вот когда мы покаялись, что в своё время не покрасили на вагоне злополучную дату!

– Но взгляните на железнодорожную накладную! – спорил я с

представителем товарного двора. – Чёрным по белому написано: вагон оплачен до конца нашего пути. Да мы уже столько в него вложили, что имеем право забрать вагон в свою собственность.

– Разгружайтесь! Знать, ничего не знаем.

Легко сказать «разгружайтесь»! Я до того ослаб за дорогу, что не в состоянии поднять, пожалуй, чемодан, не то что мамин сундук, который мы забили посудой. Да и ехать-то осталось всего ничего. Да как это – разгрузись, а потом карауль вещи на платформе, не спи, жди день, два, а может, и неделю, пока расторопные железнодорожники подадут новый вагон... Нет, разгружаться мы не будем! Будем жить в вагоне! Всё – забаррикадируемся и живём!

Я отправился искать начальство. Его нет. Начальник вокзала чест- вует в клубе участников Великой Отечественной войны. А было как раз девятое мая, День Победы, я по этому случаю даже орденские колодки на пиджак нацепил. Однако дежурный даже не взглянул на мои колодки.

– А кто решает вопрос по отправке вагонов?

– Никто. Разгружайтесь.

И тут я впервые потерял самообладание. Передо мною вдруг как бы вырос тот самый немец, с которым я в сорок втором году нос к носу столкнулся на склоне холма. Или он меня, или я его... Да, именно так, именно фашист, враг, наглый, без чести и совести, хотя и в таком же, как я, пиджаке и даже только что разговаривавший со мною как бы по-русски. И я кинулся на него, честное слово, жалея, что нет со мною боевого «пэпэша»...

Разняли. Не дали набить ему морду. Вернее, не дали набить физиономию мне. Ибо куда мне, интеллигентному хлюпику, измученному к тому же дорогой, против этого мордovorота – холёного, молодого, упитанного.

Подошёл сцепщик вагонов, седой старик, шепнул:

– Идите в товарную кассу. Там Муся. Я ей позвонил. Заплатите не-много, вагон в покое оставят, а я вас к составу в сторону вашей станции, Ульяновска, подцеплю... В каких частях служил, воевал, браток? В артиллерии? Так мы с тобой, выходит, однополчане почти...

Старик улыбался, а у меня всё еще дрожали, прыгали губы, я даже поблагодарить фронтовика не догадался, побрёл в товарную кассу. Там всё и в самом деле уладилось. На обратном пути я отыскал среди множества составов вагон и платформу Александра Ивановича.

– Как ты, Саня?.. Вот и расходятся наши пути-дороги. Из Балашова ты, как говорится, на запад, а я в другую сторону. Не забывай старого друга, – мы невесело пожали друг другу руки. – А может, завернёшь всё-таки в моё село, останешься у меня?.. А, Саня? Вдвоём-то среди чужих людей легче бы было... Как ни роднись, а мы всё-таки в этих местах уже как бы чужие. А с тобой мы за долгие годы притёрлись, проблемы меж нас нет... А, Саня?

– Нет, Ибрагимыч, друг мой. Жена ждёт в Валдае, там, вроде, и общежития добилась... на первое время. И дочь хочет перевестись на учёбу в Ленинград... то бишь в Санкт-Петербург – без привычки-то и выговорить трудно... Да, Ибрагимыч, потрепала нас с тобой дорога, долго я теперь не отважусь в путь, когда-то встретимся?.. Скорей бы уж доехать.

Обнялись. К горлу подступил комок. Бог знает, увидимся ли и в самом деле? Такое было чувство, словно прощался не только со старым другом, но и со всей своей прошлой жизнью.

Спотыкаясь на залитых мазутом шпалах, пошёл, не оглядываясь, к своему вагону. А там – ещё неприятность: диспетчер намеревался отправить нас вкруговую, через Липецк, а это ещё несколько суток пути, когда уже под боком наша станция. Жене вовсе плохо стало, пришлось вызывать неотложку. Увидев её, валяющуюся на грязном вагонном полу, служительница медицины сама чуть не

упала в обморок.

На шестнадцатые сутки мы проснулись среди ночи от тишины. В щели вагона задувал прохладный ветерок, не гремели за стенами проезжающие составы, не громыхали вагоны, не слышны были ставшие уже привычными переговоры железнодорожников, формирующих поезда, – полная тишина. Приоткрыв вагонную дверь, я увидел совершенно пустынную станцию – один лишь наш сиротливый вагон на путях. Бросили, подумал. Недоумевая, побежал к дежурному по вокзалу. За тусклым окошком виднелось небритое, заспанное лицо.

– Не волнуйся, старик. Утром «кукушка» возвратит вас на место.

Оказывается, нас просто провезли через Акталук, состав не остановился на нашей станции. Но утром действительно явилась «кукушка» – небольшой маневренный тепловоз. И спустя полчаса мы уже были в своём Акталуке. Я достал из заглазника последнюю бутылку водки и протянул машинисту. Тот замахал руками.

– Что вы! Зачем? Спрячьте, сам беженец. Из Киргизии.

– Родная душа!.. Спасибо!

Слёзы навернулись на глаза. Не приходилось мне за все эти шестнадцать суток пути слышать тёплые слова участия, человеческого понимания. Разве что в Балашово – от старого фронтовика, сцепщика вагонов, которого я даже отблагодарить как следует не успел.

А машинист взбежал по ступенькам в кабину, тепловозик раз-другой кукукнул и укатил, скрылся за холмами.

Память

Мы остались одни. Неподалеку – крохотный вокзальчик, за ним дровяной сарай, а поодаль – ряд бревенчатых избушек, ещё далее – неторопливая луговая, поросшая кустарником да красноталом речка.

Деревенская тишина. И бревенчатые избушки, и кирпичные строеньица вокзала погружены, казалось, в беспробудный сон. И у нас на душе покой, благодущие. Сидим с женой у раскрытой настезь двери вагона.

И все-таки не верится, представляется, будто мы всё ещё в пути, и вагон везёт нас неведомо куда, на край света, далеко – быть может, на самую оконечность нашей страны, на Сахалин или даже острова Охотского моря, и не будет конца этой дороге. Всё еще как бы ощущаются вагонная тряска, удушливый мазутный дым тепловоза, не смолкает грохот колес в ушах. Не верится, что позади остались пять тысяч километров, ставший родным за долгие годы город Душанбе, в котором сейчас война. Остались позади кордоны на возникших вдруг на просторах единой недавно страны границах, наглые новоиспечённые чиновники и служители стальных магистралей, продающиеся за бутылку водки. Неужели всё это позади? И не появится, как в Душанбе, из-за кирпичного строеньица вокзала бронетранспортёр, не прозвучат автоматные очереди, не донесётся тревожный гул мегафона?

Показалось в отдалении стадо коров и овец, бредёт вдоль речки, пощипывая травку. Вьются дымки из труб избушек. Из-за дальнего, раскинувшегося на холмах, ещё синеватого от рассветной дымки, леса выходило большое, розовое солнце, лучи его мягко касались зелёных свекольных, подсолнечных полей, изумрудных всходов пшеницы на склонах холмов, розовой в отблесках солнца воды, ленивой, тихой речки. Ласковый ветерок порывами доносил запах сирени, он смешивался с едва уловимым запахом мазута и угольной пыли. Только на родине могут быть такие восходы, такие пасторальные картины.

Впервые мне удалось побывать на этом маленьком полустанке в далёком послевоенном сорок шестом году. Прежде его не было, железнодорожную ветку проложили в годы войны, а полустанок называли по имени ближнего селения – моего родного села Акталук. По ветке доставлялись в Сталинград воинские части и боеприпасы, здесь на-капливались силы для решительного удара по группировке немецких войск. Но не только этим участвовал

мой родной Акталук в Великой Отечественной войне. И даже не только тем, что воевали десятки моих односельчан, а мои земляки копали противотанковые рвы и окопы. Я по себе знаю, как часто вспоминаются на войне родные места, и какую силу придают солдату воспоминания о малой родине, олицетворяющей всю нашу необъятную страну. Чтобы повидать эти места, оставшуюся здесь родню, односельчан я и спешил, ещё не совсем оправившись после госпиталя, бедовал в переполненных демобилизованными фронтовиками, беженцами, возвращающимися в родные края, беспризорниками, сиротами, нищими поездах, замерзал при бесконечных пересадках в неотопливаемых, а то и разрушенных войной вокзалах, оборонялся-воевал вместе с попутчиками с жульём и спекулянтами.

Помню, как метельным утром, увязая латаными ботинками с обмотками в глубоких сугробах, шёл я с тощим вещмешком за плечами в родное село с этого самого полустанка. И подгоняла меня ещё одна мечта-надежда: встретить здесь первую и единственную в те годы свою любовь – девушку, о которой тайно тосковал ещё со школьной скамьи.

Акталук прижимается деревянными избами к меловым холмам, из-под которых вытекают кристально чистые родники. Из этих родников с незапамятных времен пили воду мои предки. На местном кладбище покоятся их останки: Хаджи-бабая, Карим-бабая, Абдуллы-бабая. Но кто мне может поведать об их судьбе? Нынешние мои односельчане, старики, помнят лишь моего деда Хасана, умершего за семь лет до моего рождения.

Село, как и все деревянные российские поселения, часто страдало от пожаров. А в самом конце прошлого, XIX, века огонь, вспыхнув вдруг как бы одновременно над многими пересохшими соломенными актаульскими крышами, загулял по сараям, изгородям – только треск и жар невыносимый. Случилось это в страдную пору, когда сельчане работали на полях, и за короткое время пожар уничтожил двадцать семь домов со всеми дворовыми постройками, и красный петух перекинулся на соседнюю улицу.

Потеряв на этом пожаре жильё, имущество, мой дед Хасан так и не сумел уже поднять хозяйство. Слепил из самана гладенький домишко, здесь, в нужде и бедности, и вырастил пятерых детей. Земли мало, без лошадей, не хватает зерна даже для посева. Каждое лето дедушка уходил на заработки, чаще всего бурлачил на Волге, тянул бечевой суда вверх по реке от Сызрани до Симбирска, Казани, Нижнего. «Кобылку в хомут, бурлака в лямку», – до сих пор говорят наши старики. Зарабатывал гроши и всё же, отрывая от себя последнее, пытался хоть как-то обустроить детей. Старшего сына Исмаила женил, построил ему полуземлянку на окраине села. Однако холод и сырость сделали своё дело: прожив с женой всего три года, Исмаил, мой дядя, умер от туберкулёза. А тут грянула первая мировая война. Дедушка провожает на фронт второго сына – Ибрагима, моего отца. Отец попадает в плен. После нескольких неудачных попыток побега ему удаётся бежать. Пробирается в Акталук, пасёт байских верблюдов на хвалынских холмах. Здесь узнает о свершившейся в Петрограде революции, о партии большевиков, Ленине, которые обещают землю крестьянам, фабрики рабочим, объявляют мир хижинам, войну дворцам. Отец загоняет байских верблюдов в Волгу и отправляется в Петроград.

Ну как было ему, бедняку, чьи предки с незапамятных времен тоже жили в нищете, не поверить посулам! Тем более, что ничего подобного до сих пор никто не сулил. Перед отцом открылось светлое будущее, и он всецело отдаётся борьбе за это будущее – хотя бы для нас, для своих детей. Конечно, само по себе счастье не придет, за него надо бороться. Он, чьё детство, отрочество и юность прошли в нищете, в холопском услужении баям, это понимал. Но разве не стоит отдать жизнь, если даже не ты, а хотя бы твои дети, внуки будут жить в достатке? Отец до конца своих дней верил в высочайшую справедливость, в очистительные идеи справедливости. Верил без тени сомнения. Как в своё время верил и я... Карабкаются люди к хорошей жизни, своим детям её желают, и дети изо всех сил к ней рвутся, а что же получается?.. Невеселые мысли приходили мне в голову у распахнутой настёж двери вагона. После полумесячного

страшного пути из Душанбе.

В государственном архиве города Ульяновска я в один из своих наездов обнаружил такой документ: «Каримов Ибрагим Хасанович, 1892 года рождения, в 1918 году 17 марта в Петрограде добровольно вступает в ряды Красной Армии и зачисляется в отряд Жесткова при революционном Военном Совете Петрограда. С 1918 по 1921 год служит в рядах Красной Армии.

В 1921 году при разгроме банды Попова был ранен. Участвовал в борьбе с басмачами в Средней Азии. До 1931 года работал председателем сельского совета, лесничим, на других постах...»

Эпизодически, фрагментарно... Вот такими рваными кусочками сохранилась жизнь отца и в моей памяти. Суровая, жестокая, как вся наша эпоха, не баловавшая человека снисхождением, милостями. Память эта складывалась из рассказов людей, знавших отца, и прежде всего из рассказов матери, неотлучно следовавшей за ним повсюду. Однако многое из этих рассказов, к моему величайшему огорчению, уже забылось. Я, например, не помню, как отец попал на Урал – воевал в чапаевской дивизии. Зато отлично помню восторженный рассказ матери о встрече впоследствии бойцов-чапаевцев в Самаре по случаю открытия в городе памятника легендарному комдиву. Ей, деревенской женщине, знавшей лишь повседневные будничные тяготы, на всю жизнь запомнились торжества: митинги, встречи с благодарными самарцами, всеобщее внимание, прямо-таки царский, по её мнению, номер в гостинице. Помню и рассказ матери о том, как в двадцать первом году отец, переодевшись в женское платье, ходил в потоке крестьянок-торговок в Заволжье на разведку – уточнять расположение бандитских частей Попова. А глубокой осенью, при ликвидации банды Попова, отряд, форсировав Волгу, заледенел на песчаном плёсе, противник не давал поднять головы. При этих-то обстоятельствах и был отец тяжело ранен, как это отмечено в обнаруженном мною документе ульяновского архива. Powestler